

Муся Гланц

# ВЫХОД





Муся Гланц

# ВЫХОД

BOSTON • 2025 • CHICAGO

**Муся Гланц** Выход  
**Musya Glants** Our Way Out

Copyright © 2025 by Musya Glants

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by an information storage and retrieval system without prior permission in writing from the copyright holder.

ISBN 978-1-960533-75-3

Proofreading by Julia Grushko  
Book Design and Layout by Yulia Tymoshenko  
Cover Design by Larisa Studinskaya

Book and cover illustrations: Wikipedia.com | Public Domain

Published by M•GRAPHICS | Boston, MA

📄 [www.mgraphics-books.com](http://www.mgraphics-books.com)

✉ [mgraphics.books@gmail.com](mailto:mgraphics.books@gmail.com)

Printed in the United States of America

*Памяти моих родителей.  
Моему мужу,  
всем моим детям  
и друзьям.*

# СОДЕРЖАНИЕ

Просто несколько слов . . . . .	9
Шаг к приоткрытой двери... . . . .	13
...В наш новый дом . . . . .	96

## ПРОСТО НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Прошли долгие годы с тех пор, как я в последний раз видела своего папу живым. Это было на перроне рижского вокзала, когда он провожал нас из отпуска в наш тогдашний дом, в Сибирь. Я и сейчас, спустя десятилетия, мысленно вижу его согнутые плечи и его лицо, которое выражало не просто печаль, а горестность, и в глазах у него были слёзы. В отличие от меня, тогда молодой и полной радости жизни, он как будто бы знал, что это наша последняя встреча.

С тех пор, когда вспоминаю лицо папы на том перроне, оно видится мне каждый раз по-другому под многими наслоениями времени и переживаний моей собственной жизни. С каждым разом я сильнее ощущаю выраженные в нём чувства, теперь так хорошо знакомые и мне, — постоянную боль от долгой разлуки с детьми, медленное движение уходящей жизни и невозможность это остановить, и от того, что я теперь лучше понимаю его, он становится мне ещё ближе.

Я знаю, что некоторые люди относятся с недоверием к мемуарам и вообще к воспоминаниям, считая их слишком субъективными и неточными свидетелями. Прошлое действительно предстаёт в них не совсем таким, какими были реальные люди, события и наши чувства, о которых мы теперь вспоминаем. Становясь частью нашей памяти, оно, это прошлое, уже другое, оно становится неким символом, несущим в себе «следы» первоначального момента, которым оно было вызвано и без которого оно не может

существовать. Но, лишённое реального переживания и потерявшее свою непосредственную остроту, вернувшееся к нам лишь образом, воспоминание в то же время не оскудевает, а становится даже насыщеннее, постоянно впитывая всё то, что происходило с нами, и обогащаясь за счёт этого.

Я помню тот день, когда мама в полутёмной комнате военного Коканда, освещённой слабенькой коптилкой, сняла со стены мешочек с несколькими горстями муки, спрятанной на «чёрный день», день полного отсутствия еды, который вот тогда и наступил, и, смешав её с водой, сделала для нас какое-то подобие клёцок, оказавшихся горькими от её заплесневелости. Но в моей памяти этот день, конечно, уже не тот, каким он был тогда для меня — семилетней девочки. Повзрослев и вспоминая его, я, хоть больше и не ощущаю реальной горечи и сухости той застревающей в горле клёцки, но она, эта горечь-воспоминание, стала частью моей души, сохранившей и способной передать другим, что такое детский голод, и слёзы в глазах моей мамы и бабушки, вынужденных спасать своего ребёнка. Вот этот образ, обогащённый нашим переживанием, тем, что лингвисты называют «внутренней формой», и делает воспоминание подвижным, открытым ассоциациям, интерпретациям и новым смыслам. Поэтому, наверно, мы проникаемся тем, что доносят до нас факты истории и многозначность литературы или о чём пишут и рассказывают нам другие, порою совсем незнакомые нам люди.

После того как моя книга «Лоскутное одеяло, сшитое памятью» была доброжелательно встречена читателями, я взяла на себя смелость продолжить свой рассказ и написать о каких-то моментах того времени, в котором жило моё поколение, попавшее под давление многих драматических событий. Одним из таких событий, неожиданно положительным, стала возможность эмиграции, явившееся советским людям как нечто неожиданное, до того просто фантастическое и невозможное.

В этих записках я рассказываю о том, каким непростым испытанием и риском во многих смыслах становилось ре-

шение покинуть привычную жизнь, эмигрировать, и о наших первых шагах в новом и непривычном для нас мире Запада.

Сейчас, сорок с лишним лет спустя, я мысленно вижу происшедшее как вход в слабо освещённый туннель, где нога, нерешительно ступая, ищет опоры, и постепенно ты начинаешь замечать всё усиливающийся появившийся откуда-то свет выхода, куда ты идёшь, всё ещё неуверенный, но уже окрепший в пути. Ты выходишь из этого туннеля в пока малознакомый тебе мир, но при этом ты знаешь, что и ты сам уже другой.

Давно затасканным и «бородатым» стал анекдот о том эмигранте с Брайтон-Бич, который на вопрос, как же он живёт в Америке, не зная языка, ответил: «А я в Америку не хожу!» В отличие от него, я «пришла» в эту страну, и, несмотря на всё, что было непросто, она стала для меня домом и дала возможность избавиться от чувства постоянной раздвоенности в прошлой жизни и состояться, стать, кем хотела стать.

Я думала обо всём этом, сидя в комнате, которую я для себя называю «берлогой», потому что слова «кабинет» или «study» кажутся мне слишком официальными. «Берлога» — это комната в моём доме, где я провожу больше всего времени, с тех пор как стала старушкой. А как себя иначе назовёшь, если тебе уже девяносто? Я называю эту комнату так, потому что она — место, где я читаю, пишу, вяжу и вообще делаю всё, что мне хочется. Меня окружают вещи, которые я люблю и которыми дорожу — мои книги, фотографии родителей, родных и дорогих мне людей, несколько картин, которые со мной разговаривают, и много всяких мелочей, радующих глаз. И, конечно, тут со мной телефон, связывающий меня с близкими, и главный мой помощник и советчик — мой компьютер, который рассказывает мне обо всём на свете и который терпеливо выслушивает то, что говорю ему я, и мне здесь особенно хорошо думается и пишется.

Мои записки неизбежно повторяют многое, что было сказано и до меня, но опыт каждого человека, пусть даже очень обычный, не бог весть какой новый, но окрашен-

ный его индивидуальностью, даёт возможность увидеть известное по-другому. Я подбирала иллюстрации не по принципу их красоты или значительности, как это делается в туристских брошюрах и справочниках. Моя цель была показать видимый кусочек того мира, в котором я тогда жила, что видела, чувствовала и переживала. Мне казалось, что читатель поймёт это лучше, если увидит, с чем я прощалась и с чем встретилась в новой стране, что болело, печалило и что радовало и давало новые силы.

## ШАГ К ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ...

**Я**рко горели вечерние огни Чикаго, огни первого большого американского города, куда привела нас эмиграция. Они светились и сияли, переливались и лучились, освещая стройные линии улиц, силуэты небоскрёбов и парков, знаменитую One Magnificent Mile с её нескончаемым рядом магазинов, ресторанов и мерцающей рекламы. Свет выхватывал фигуры людей, шуршащих огромными пакетами покупок, и шум толпы смешивался с шорохом проносящихся автомобилей, запахом хвои и атмосферой праздника. Мы оказались там сразу после того, как кончилась еврейская Ханука и начинался христианский Christmas, и не только центр города, но и все прилегающие к нему окраины были украшены с невероятной фантазией и любовью. Гирлянды цветных лампочек обвивали колонны у входа в дома и стволы заснувших на зиму деревьев, а трогательные евангельские композиции вызывали умиление. В окнах можно было увидеть нарядные ёлки или стоящие на подоконниках миноры. Здесь всё было для нас новым и необычным — и широко раздвинутые в стороны фалды занавесок, как бы приглашавшие заглянуть в чужую жизнь, и спокойные улыбающиеся лица встречающих, приветливо говорящих знакомым и незнакомым «Marry Christmas!».

Мы мало что знали об Америке. Ещё до войны я впервые услышала о такой стране от мамы, которая ещё и много лет спустя часто вспоминала свою подругу юности Анну,

уехавшую туда. Мама, видимо, по ней скучала, и было ясно, что оставшаяся другая подруга по прозвищу Пудра не могла Анну заменить, но у мамы почему-то не было ни одной её фотографии, и, по рассказам мамы, Анна представлялась мне высокой, статной и очень спокойной женщиной, чем-то похожей на снимок статуи Свободы, который я видела в журнале. Разговоры об Америке вошли в наш дом и вместе с Морковкой — нашим родственником, человеком странным и не очень приятным. Он в 30-е годы съездил в Нью-Йорк, быстро во всём разочаровался, но заразился там вегетарианскими идеями, о которых не переставал говорить, за что и получил своё имя «Морковки». В его рассказах Америка была серой и безликой, такой же, как и унылая фигура его самого. Всё в ней оказывалось окрашенным в мрачно — коричневые тона, и слушать монотонные рассказы Морковки становилось очень скучно. А много лет спустя у меня появилась знакомая старушка, когда-то убежавшая от революции из Петербурга и через Ригу в Нью-Йорк, а в 60-е вернувшаяся к некогда оставленному сыну. От неё я узнала, что американцы уже давно отказались от традиционных носовых платков, стирать которые, каждый знал, было мукой, и заменили их бумажными мягкими салфетками под названием *klinex*, а громоздкой посуде предпочитали одноразовую бумажную. Да и много чего рассказывала мне Татьяна Владимировна об этой далёкой стране. Ну и, конечно, я представляла её себе, такую разную, по Марку Твену и Драйзеру, Джеку Лондону и О'Генри, где дядя Том улыбался Тому Сойеру, что, как оказалось, было легко вообразить, ибо, как я узнала потом, дома Бичер-Стоу и Марка Твена были чуть ли ни на одном дворе. Эти образы смешивались с «Городом жёлтого дьявола» Горького и «Одноэтажной Америкой» Ильфа и Петрова. И ещё были фильмы, в которых герои или жили в мире «белых телефонов» с их огромными красивыми комнатами и сигарообразными машинами, или ночевали под мостами, собирая объедки по мусоркам, и Ширли Темпл и Дина Дурбин поглядывали на Флинта. Но все эти впечатления как-то «ссорились» между собой, не всегда совпадали и частенько противоречили друг другу. И вот

теперь нам самим предстояло узнать, увидеть и понять эту удивительную и манящую страну, свою реальную Америку, путь к которой был долог и совсем не прост.

Эмиграция подкрадывалась на мягких лапах, тихо, исподволь. Я впервые услышала её робкий и тоненький голос, когда после войны во время праздника Песах ещё до создания государства Израиль гости встали со своих мест за столом у моей тёти Пани и, подняв бокалы и глядя как-то особенно торжественно друг на друга, сказали: «В следующем году в Иерусалиме!» И ещё многие годы «призрак отъезда» был с нами, мирно уживаясь с нашей повседневностью, в которой мы строили наше благополучие, комфортно соединяя его с пронизывавшем любой момент жизни чувством постоянного раздвоения. Две жизни текли рядом, независимо друг от друга: одна, суетная, полная забот, тревог, стремлений и усилий к тому, чтобы стало лучше, легче; другая — тихая, маленькая, невидимая, но всё время нашёптывающая, что всё временно, несмотря на кажущуюся устойчивость, и постоянно внутри звучал этот вопрос, «надо ли уезжать в Израиль». Сначала «уехать» представлялось чем-то совершенно нереальным, эдаким «не может такого быть никогда», чуть ли ни идеей фикс сумасшедшего. Даже бурные события приезда Голды Меир, первого посла Израиля в СССР, в дни Рош ха-Шана в сентябре 1948 года, как бы вселившего во многих новое дыхание, осознание себя именно евреями, а не просто советскими людьми, не помогли сделать выезд реальностью. Наоборот, за визитом Голды Меир последовали гонения и аресты. Большие сроки получили несколько человек только за подозрение встречи с ней, не говоря уже о тех, кто в это время сделал попытку нелегального перехода границы. И всё же этот вопрос, чуть ли не задушенный еврейскими репрессиями 40–50-х, не то что никуда не уходил, но его маячащая вдали полутень-полумечта постепенно обретала всё более определённые черты.

О том, что наступают перемены примерно в это же время, в конце 50-х, говорили некоторые любопытные

события, которые я хорошо помню, но не могу, к сожалению, найти им никаких формальных подтверждений. Тем не менее они остались в памяти как нечто совсем новое, неведомое до той поры и наметившее в ней некий поворот. Мы с папой и мамой, как и многие рижане послевоенных лет, много гуляли по городу. Эти проулки по красивым и уютным улицам мирной Риги помогали восстановиться чувству душевного спокойствия, в котором люди в те годы особенно нуждались. Мои родители любили, встретив знакомых, что случалось довольно часто, остановиться поболтать. И нередко во время этих променадов к нам подходил невысокого роста человек с доброжелательной улыбкой на подвижном лице, с которым папа очень оживлённо разговаривал на смеси нескольких языков, при этом много жестикулируя, но русский у папного собеседника был очень неправильным, с сильным и непривычным акцентом. Папа рассказал, что он, этот человек — итальянец и что их здесь, в Риге, несколько, бог знает каким образом попавших сюда во время войны, но других я никогда не видела. К сожалению, я совсем не могу вспомнить, что говорил мне папа о них и их судьбе, но тогда «наш», как и папа, был музыкантом и тоже играл в ресторане, и звали его Глорио. Помню, в какой-то день папа с волнением рассказал маме, что итальянцам разрешили вернуться домой, но без семей, которыми они уже успели здесь обзавестись, и они, как по мановению волшебной палочки, чуть ли не в одночасье исчезли из города. А потом, уже в конце 60-х, в наших кафе стала часто появляться девушка, которую, оказывается, многие знали и о которой говорили, что она дочь этого самого «моего» итальянца и что теперь она наконец-то получила разрешение уехать к нему в Италию.

Вспоминается мне и ещё одна картинка тех же лет: неспешно прогуливающиеся по улицам Риги молодежавшие офицеры в «ненашей» форме, — говорили, то ли югославской, то ли албанской, — которых все, особенно женщины, провожали долгими взглядами. Ходили они почему-то парами, и в их медленной расслабленности

было понимание своей необычности и несомненное желание покрасоваться. За ними тоже тянулся шлейф слухов, и предполагалось, что они были курсантами советских военных училищ, оказавшихся в Риге заложниками после того, как Сталин поссорился с Тито в 40-х годах, и югославо-албанско-советские отношения оказались невероятно запутанными. Когда Хрущёв с Тито помирился в 55-м, то и они исчезли из нашего поля зрения. Опять же, говорили, что они тоже уехали к себе. И ещё: в один из дней мне сказали, что наша сокурсница с исторического, хорошенькая и весёлая Нудельман (не помню её имени) уезжает в Израиль, потому что они с мамой оказались обладателями нансеновских паспортов, дающих право на жительство во многих странах мира. Не только сам факт, но даже слова, его объясняющие, казались нам какой-то чудесной музыкой, хоть и совсем непонятной. Ну и были, конечно, всем ставшие известными Тайцы, мама которых сумела их вывезти даже в Америку, где жила ещё с довоенных времён.

Первыми ласточками на пути еврейской эмиграции стали люди из Польши, каким-то образом оказавшиеся во время войны в Союзе и теперь получившие возможность вернуться домой по условиям репатриации 1957 года. О том, что такое возможно, мы впервые узнали в один прекрасный день, когда, открыв входную дверь, увидели на пороге нашу дальнюю родственницу, несчастную одинокую вдову с ребёнком, всегда вызывающую жалость и желание помочь. На сей раз мы едва узнали в улыбающейся и явно вдруг помолодевшей женщине, стоящей в проёме двери, нашу Рахиль с её вечно плаксиво-горестным выражением лица, опущенными глазами и тягучим голосом. Как оказалось, ей улыбнулось счастье: когда-то много лет тому назад её родители, коренные рижане, каким-то образом, чуть ли не проездом, попали в Варшаву, и Рахиль именно в этот момент там родилась. Все, и она сама, давно забыли об этой детали её биографии, а вот теперь этот давно забытый всеми факт стал её лотерейным билетом и наградой за её нелёгкую вдовью судьбу. «Польский поток» вызвал много волнений, и в течение долгого времени только и было об этом разговоров

и пересудов, в основном в еврейском мире, для многих он оказывался настоящим чудом.

Окружающим эти «счастливики» виделись освещёнными каким-то особым ореолом мерцающей свободы, хотя речь шла всего-то о социалистической республике Польши. Для них же самих всё было намного сложнее: у каждого за годы в России сложился привычный уклад жизни, были семьи, круг близких и друзей, и оказалось совсем не просто со всем этим расставаться и всё заново строить. К тому же радость возвращения смешивалась с болью пережитых потерь и с пониманием, что едут они не столько домой, сколько туда, где земля пропитана кровью их родных, а воздух наполнен гарью пожаров и крематориев. Некоторые связи рвались очень болезненно, по живому, и неожиданная удача оборачивалась большими переживаниями, как это случилось с одним из моих друзей. В начале войны он, четырнадцатилетний мальчик, разминувшись по дороге с родителями, один брёл в сторону советской границы. Однажды ночью, добравшись до какой-то реки и не зная, что делать дальше, он, пытаясь переплыть её и теряя сознание, за что-то уцепился. Его нашли на рассвете советские пограничники и штыком отдирали от борта случайной лодки его замёрзшие пальцы, на которых бурые шрамы остались на всю жизнь. Дальше были ремесленное училище, мореходка, годы бесприютного одиночества. Я познакомилась с ним, когда всё это осталось позади, а он, закончив в Риге юридический факультет, стал адвокатом. Теперь ему приходилось сделать нелёгкий выбор между его любимой женщиной и новой жизнью с ней, к которой он долго и непросто шёл, и возможностью вывезти из Союза своего сына от прежнего брака. Но для него, как и для многих других, эта совершенно неожиданная возможность уехать из Советского Союза брала верх над всеми сомнениями и колебаниями. К тому же очень скоро, к удивлению и радости всех, стало ясно, что Гомулка, тогдашний польский глава, вовсе не хотел держать у себя этих нахлынувших евреев, и он предоставил им возможность быстро уезжать в Израиль, что каким-то непонятным образом вызвало новую волну надежд у остающихся в Союзе.

Постепенно медленный ручеёк отъездов набирал силу. Наступал конец 60-х, и укладывал чемоданы мой дядя Бери и увозил с собой мою бабушку. Уже с крыльца комиссионки, где он любил часами простаивать, исчез и уехал Школьник, король этой «алладиновой пещеры» импортных соблазнов, а за ним и наш бывший сосед Кравец, «владыка» антикварных мебельных находок. Уже моя подруга Лия Словина с её пёстрой семьёй выехала в Израиль и перестала мозолить глаза властям, разгуливая по городу с малышом в коляске, к которой был прикреплён израильский флажок, и постоянно вступая, где только можно, в споры с советскими бюрократами. Вот когда этот малыш в коляске родился, и родители пришли в ЗАГС его регистрировать, мгновенно создалась ситуация, доведшая работников этого учреждения до белого каления. На вопрос, как они хотят мальчика назвать, отец сказал: «Цви-Бен-Ами!» — «Нет у нас такого имени!» — воскликнула регистраторша. «А у нас, евреев, есть!» — ответил отец, Боря Словин, известный еврейский протестант тех лет.

Героями стали несколько молодых людей, которые в знак протеста против отказа в выезде прикрепили себя к чему-то цепями при входе в ОВИР, тогда на бульваре Райниса. Отгремело «самолётное дело» 70-го года, когда прошли процессы над теми, кто пытался угнать самолёт в Израиль из аэропорта Смольный под Ленинградом. К нему оказались причастны и кое-кто из рижан, самые отчаянные и смелые, такие как Рут Александрович, например. Прошла и легендарная голодовка в Москве, когда в приёмную председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного 11 марта 71-го года вошли двадцать четыре еврея и заявили, что не уйдут, пока не получат разрешение на выезд в Израиль. И тут не обошлось без наших рижских. В марте в той же приёмной в присутствии западных корреспондентов объявили голодовку пятьдесят шесть евреев из Риги. Всё бурлило, и поток отъезжающих медленно, но настойчиво нарастал в результате этих акций. Евреи начинали верить, что можно уехать за пределы Советского Союза, что это не мечта, не сон в летнюю ночь,

а пусть хрупкая, но реальность, ожившая «невероятность», породившая радость, смятение и возбуждение.

То, что рижане оказались в центре этих событий, не было случайностью. Именно Рига после войны, как, впрочем, вся Прибалтика, оказалась одним из основных центров сионистского возрождения и борьбы за выезд, и это могло произойти в большой степени потому, что, в отличие от других мест в Союзе, наш «советский» опыт был не слишком долгим, многие успели отучиться в еврейских школах буржуазной Латвии, Литвы и Эстонии, говорили дома на идише, отмечали еврейские праздники и даже ходили в синагогу. Я сама была из такой семьи и очень хорошо помню этот дух национальной приподнятости, который царил в это время в местных семьях.

Начали происходить странные и неслыханные вещи. К начальникам отделов кадрами в самых разных заведениях, учреждениях и институтах стали приходиться самые разные люди, увольняющиеся, потому что им не терпелось воссоединиться с двоюродным дядей или тётёй в далёком и маленьком государстве Израиль. Причём это были не только какие-нибудь незаметные винтики в стройной машине советского общества, но и доктора наук, видные инженеры, врачи, учителя... Нет смысла перечислять все виды профессий и званий, к которым эти люди принадлежали. Их не пугали ни «дикие» условия отъезда, как, например, введённая одно время плата за полученное в СССР образование, ни постоянная израильская угроза войны, враждебные арабы и то, что их детям, не только мальчикам, но и девочкам, придётся служить в армии и рисковать своей жизнью.

К решению уехать все приходили по-разному, причин было множество, и они составляли колорит той пёстрой картины, которой оказывалась каждая волна эмиграции. В 60-е и начале 70-х уезжало много убеждённых сионистов, и уезжали они, как правило, в Израиль. Это были, с одной стороны, люди старшего поколения, собиравшиеся в Палестину ещё до войны, как, например, мой родственник Иля Зайдин, как раз один из отсидевших в со-

ветской тюрьме срок за попытку нелегального перехода границы уже после войны, но было среди них и много молодых, стремившихся жить именно и только в Израиле. Благодаря им в городе уже довольно давно существовали кружки, где изучали иврит, еврейскую историю и религию, и их участники давали всем, кому интересно и кто не боялся, читать литературу «оттуда». Одно время они даже издавали нелегальную газету «Итон». Они были все очень разные, эти молодые люди. Я знала многих из них, а с некоторыми и дружила. Помню горящие глаза Бори Словина, известного в своё время дерзким побегом в Ригу из сибирской ссылки, а теперь готового идти в Израиль хоть пешком; слышу голос другого — отчаянного Дова (Бори) Шперлинга, отсидевшего в тюрьме по доносу своего университетского преподавателя, и вижу непохожего на них, сдержанного, аристократически красивого Володю Абрамсона, от высокой фигуры которого веяло спокойствием и уверенностью. Какое-то время Словин и Шперлинг вместе переводили на русский «Исход» Леона Юриса, и всем, кто хотел, раздавали листки с этим текстом. Всех их объединяла убеждённость, с которой они верили в свою миссию строителей нового государства. От их энтузиазма исходила заразительная энергия, и неудивительно, что все они легко вписались в жизнь той страны и заняли там достойное место. Их, этих откровенных сионистов, почему-то переставших скрываться и бояться, стали вдруг охотно выпускать из Риги. Они в те годы заслоняли тех, кого потом называли «колбасной эмиграцией», хотя всегда было достаточно людей, кто летел на огонёк «красивой жизни», приглянувшейся по фильмам и книгам, или таких, как мой дядя Бери или другие наши знакомые, воротилы чёрного рынка и подпольного бизнеса, окрылённых успехами в уродливой советской экономической системе, считавших, что уж при капитализме-то они вовсю развернутся, но их как раз и ждали большие разочарования, и они потом тихо угасали в новых условиях.

После того как люди стали уезжать не только в Израиль, причины отъезда оказались ещё более многоликими и размытыми, но далеко не всегда они осознавались

достаточно ясно ни самими уезжавшими, ни теми, в чьи страны они отправлялись. Принимавшие нас ещё помнили рассказы своих бабушек и дедушек, бежавших в Америку от погромов и бесправия и бывших совсем не похожими на тех, кто сидел перед ними сейчас. Эти вновь прибывавшие опровергали бытовавшее на Западе и воспринимавшееся зачастую слишком буквально представление о притеснениях и проявлениях антисемитизма. Теперь на Запад приезжали не забитые и обездоленные, а прекрасно образованные, очень целеустремлённые и дееспособные, готовые к преодолению препятствий и к честному соревнованию люди, что зачастую сбивало с толку тех, кто эмигрантов встречал, — в первую очередь представителей общественных организаций за границей. Они не совсем понимали, от чего и зачем всё-таки уезжали эти, казалось бы, вполне состоявшиеся благополучные люди старшего поколения и молодые, которые почти достигали того, чего хотели, были почти теми, кем хотели быть, и имели как будто бы всё, что считалось вождленным в рамках советского режима.

Непонимание усугублялось ещё и тем, что большинство приезжавших не выглядели недокормленными или неухоженными и уже в первом же центре прибытия, в Вене, многие сразу же вызывали раздражение своими золотыми украшениями и дорогими шубами, множеством чемоданов, за что один из наших первых гидов на ломаном русском и с большой иронией окрестил этот багаж «сумками и сумкетками», ибо они перегружали автобусы. Бывали даже случаи, когда к «ведущим», чиновникам еврейских организаций с небольшой зарплатой, приходили как к «третейским судьям» на «разборки», выясняя, кто что кому из родственников или знакомых недодал или утаил при переезде. Нам тоже досталось, потому что буквально в последний день перед отправкой багажа к нам влетела довольно дальняя знакомая с просьбой вложить в багаж и её вещи — котоновые детские колготки и банную китайскую простыню для её детей в Нью-Йорке. Мы, прижатые к стенке, с трудом затолкали объёмистый пакет

в наш ящик, но беда оказалась в том, что наш багаж весь разворовали вместе с чужими колготками и простынёй, а родственники из Нью-Йорка ещё долгое время звонили нам в Чикаго, требуя компенсации.

Не всегда и не везде вновь прибывших встречали с распростёртыми объятиями, и им не сразу предлагались работы, о которых они мечтали. Казалось обидным, когда их не оценивали сходу, и им, людям хорошо образованным, предлагали работы на начальном уровне. Так произошло, например, когда «ведущая», милая волонтерша-пенсионерка, желающая всем хорошего, но мало сведущая в технических профессиях, организовала интервью нашего родственника с владельцем небольшой ремонтной мастерской, возможным работодателем, а тот стал экзаменовывать его по азам школьной механики и элементарной математики, не понимая, что перед ним был достаточно опытный инженер. Репутации складывались медленно, постепенно, и многим адвокатам, учителям, музыкантам, да и много кому ещё приходилось поначалу продавать булочки в bakery или косметику в магазине, развозить пиццу или убирать помещения.

Но у тех же чиновников возникало и недоумение и множество вопросов от того, что большинство этих успешных, материально состоятельных людей, не будучи ни обездоленными, ни бедными, только в редких случаях жертв откровенных антисемитских выходок, тем более физических расправ, от своего благополучия сознательно и добровольно отказывались и ехали в неизвестное, избрав нелёгкую долю эмигранта. Так отчего же поток эмиграции становился всё больше и больше? На этот вопрос много было ответов, позволяю и я себе высказать некоторые предположения, основанные только на том, чему была свидетелем и в чём сама участвовала.

Теперь уже ни для кого не секрет, что в нашем советском мире, где всё было устроено лживо и цинично, ситуация с евреями выглядела внешне вполне пристойно, но

все мы внутри этого коварного режима чувствовали и знали, что на самом деле происходило и в какую игру с нами играют. Ко всему тому, с чем жили остальные советские люди, мы с нашим «пятым пунктом» были втянуты ещё и в двойные тиски. Мы жили в обстановке, где были вынуждены принимать как должное своё скрытое неравенство, осознавать себя людьми «второго сорта», соглашаться и терпеть, что, несмотря на исключения, еврей мог быть заместителем начальника, но не самим начальником, что для наших мальчиков и девочек были закрыты двери в некоторые престижные вузы, и все знали о специальных задачах для евреев на конкурсных экзаменах. Мои друзья, окончившие школу с золотыми и серебряными медалями, не могли поступить в такие институты, как Бауманский, например, и вынуждены были учиться в институтах железнодорожного и всякого другого транспорта. Когда кафедра, на которой я работала, оказалась в какой-то момент без заведующего, то меня, бывшую в тот момент и.о. на этой должности, вызвал ректор и, заикаясь от смущения и неловкости, сказал, что лучше меня нет никого для руководства кафедрой, но ОБКОМ меня не утвердит по известным причинам. И при этом он стал выразительно подмигивать. Моя руководительница диссертацией, Лариса Ивановна Новожилова, прошедшая путь от доцента университета до сначала секретаря райкома партии, а потом директора Русского музея, извиняющимся голосом говорила, что не может мне помочь работать искусствоведом в Ленинграде, хотя я её ни разу об этом не просила, ибо знала, что называется, «своё место». А те, кто достигали желанных вершин, за небольшим исключением старались брать к себе на работу как можно меньше евреев, боясь быть обвинёнными в национализме или ещё каком-нибудь смертном грехе. Мало было таких смельчаков, как проф. ГВФ Хаим Борисович Кордонский, который был известен тем, что брал к себе в аспирантуру молодых талантливых евреев без оглядки на последствия. Мы все это осознавали и откровенно об этом говорили как о некоей данности, много шутили и смеялись по этому поводу на языке нашего горьковатого еврейского юмора. Вот против этого

ощущения — быть человеком второго сорта — всё в душе многих восставало, и никакие подачки — «почести» — не могли этого заглушить. Мне почему-то кажется, что была такая тоненькая жилка неудовлетворённости в решении уехать даже самого заведомого «колбасника», думающего о судьбах своих детей.

Но что бы ни было толчком к отъезду, в этом порыве был ещё один момент, не всегда и не всеми достаточно осознанный, но сильный. Наши души, всегда сидевшие взаперти, надвое разделённые, но вынужденные подчиняться не своей воле и желаниям, а жёстким правилам режима, пусть даже бессознательно, но рвались к свободе, в них жило безмерное любопытство. Когда мы в мыслях, робко, представляли себе, что есть мир, в котором человек может жить в любом месте, которое он сам себе выберет, может просто снять или купить квартиру или машину, может поехать и пойти, куда и когда он хочет, может взять в магазине или библиотеке любую книгу, то от одной этой мысли захватывало дух. Могла ли я себе представить, что увижу Париж, Лондон, Нью-Йорк и Гонолулу!

Мы, евреи, много раз доказывавшие преданность отечеству, воспитанные на русской культуре, чувствовали «усталость», если можно так сказать, от этого груза неравенства, от этого «почти», которое нам разрешалось, и поэтому основным тоном еврейского отъезда было «уехать от России», в отличие от российских диссидентов, которые уезжали, «увозя с собой Россию», как об этом писал эмигрант послереволюционной волны Роман Гуль.

Мир наших родственников, друзей и знакомых раскололся на два лагеря — на тех, кто хотел и был готов уехать, бросая всё, и тех, кто, пожимая плечами, решал оставаться в тёплом гнёздышке брежневского беспросветного уюта. Вопрос «ехать — не ехать» обсуждался без преувеличения чуть ли ни в каждом еврейском доме, за столиками кафе и просто при встречах. В этом участвовали не только все поколения еврейских семей, но и русские люди, попадавшие в этот круг. Национальность «еврей» как-то сразу

поднялась в цене. Русские и латыши стали искать еврейских бабушек и прабабушек, и появились фиктивные браки. В очередях за дефицитом в ответ на крики «уезжайте в свой Израиль» в ответ так же громко слышалось: «Вот мы-то уедем, а вы вот тут и останетесь!» Все анекдоты и шутки того времени крутились вокруг «ехать — не ехать». Обе стороны, уезжающие и остающиеся, относились друг к другу, скажем мягко, настороженно и с плохо скрываемой неприязнью, уж очень много возникало проблем — непонимания, противоречий, сложностей и, чего уж крикнуть душой, откровенной зависти к возможности уехать. Обе стороны были достаточно агрессивны в своих спорах, и чаще всего доводы были больше эмоциональными, чем логичными. Конечно же, одним из главных вопросов столкновений был вопрос о расставании с русской культурой и невозможности жить «бездуховной» жизнью в «местечковом» Израиле или в такой же «бездуховной» Америке. Кто только ни смеялся над бедным евреем из Даугавпилса, побывавшим в гостях у своей родни в Хайфе и утверждавшим по местному телевидению, что там жить плохо, потому что нет «никакой культурной жизни». Тревога и раздражение нарастали, во многих семьях отношения между родителями и детьми, жёнами и мужьями накалялись настолько, что появились даже разрывы и разводы на этой почве. Всё ещё отягощалось не только моральными и душевными разногласиями между близкими людьми, но и чисто практическими сложностями и иезуитскими требованиями властей. Так, весьма взрослым и самостоятельным людям надо было получать как бы разрешение на отъезд от родителей, которые тем самым как бы отказывались от материальной помощи и заботы своих детей в будущем. На самом деле такое требование было ещё одной формой давления и запугивания и влекло за собой массу неприятностей для остающихся. Положение о разрешении родителей, якобы защищавшее их, на самом деле оборачивалось против них же. Те родители, которые сами ещё работали и дорожили своим положением, теперь, разрешив детям отъезд, становились как бы ответственными за свою политическую нелояльность и «дурное» воспитание своих де-

тей, покидавших (читай «предававших») родину, и поэтому оказывались уязвимыми для всяческих официальных ущемлений и неприятностей — выговоров, разбирательств их морального облика, лишения персональных пенсий и даже увольнения с работы. От одного к другому передавались рассказы то о бездушных детях, не жалеющих и «губящих» своих родителей, то об эгоистических «предках», лишаящих своих детей свободы.

Когда мы, жившие тогда в Новокузнецке, приезжали в отпуск в Ригу, то казалось, что воздух наэлектризован, а мы, кто тоже зависел от родительских, отнюдь не положительных, настроений и воли, хоть и оказывались в самой гуще этих будоражащих событий, но реально пока ещё оставались вне их и, сидя в своей Сибири, тихо посапывали, где-то в глубине души ожидая того часа и толчка, когда откладывать решение станет невозможно. Наше малодушие питалось тем, что в нашей жизни это был как раз тот момент, когда мы только-только почувствовали денежное облегчение, а наш советский общественный статус оказался на пике наших возможностей и даже желаний. Почёт, уважение, полное доверие. Новая комфортабельная квартира, продуктовый спецмагазин, спецполиклиника и прочие всякие многообразные «спец», о которых и известно-то не было, что они существуют. Слойми ложились сверху новые «блага», а снизу это сооружение подтачивалось пониманием, что всё строение всё равно скоро рухнет, не оставив камня на камне.

Мы внутренне были к этому готовы, но последний толчок пришёл к нам извне, когда в один прекрасный день наша старшая дочь Софа, к тому времени уже жившая несколько лет в Риге с мужем и ребёнком, сказала мне по телефону, что они решили уезжать. Услышав это, сердце моё замерло, но стало сразу как-то легко и ясно, что пришёл конец всяким рассуждениям и колебаниям, и, несмотря на все неизбежные препятствия к нашему отъезду, нам после этого оставалось только действовать. Опять возникло это трудно поддающееся описанию ощущение, похожее на стояние над обрывом. Как и перед отъездом

в Сибирь, то, что мы собирались сделать, можно было сравнить только с прыжком в совершенную неизвестность. Но тогда мы были на пятнадцать лет моложе, за нами мало что стояло, мы уезжали с лёгкостью неимущих, а сейчас мы оставляли за собой весомые обломки того, что долго и так непросто и старательно строилось. И всё же, как и тогда, внутри страх смешивался с удалью, и сердце замирало и падало от какой-то особой лёгкости, даже бесшабашности в предвкушении новизны, и было страшно-вато и сладостно в одно и то же время. И всё завертелось.

Мы улаживали наши дела с невероятной быстротой, как будто только и ждали этого толчка. К нашему удивлению, окружающие сразу поверили легенде, что Алику предложили прекрасную работу в Риге, а его верная жена не может не последовать за ним. И тут оказалось, что очень трудно лгать людям, с которыми прожил в дружбе многие годы, людям, которые всегда и во всём нам верили, а мы — им. И от удручающей неловкости за этот обман мы стали говорить правду, которая посеяла много перетолков, сомнений, уговоров, но удивительным было, что там, в не готовой к переменам Сибири, не было предательства. Ни один человек в нашем окружении от нас не отвернулся. Предательство появилось позже, но, к счастью, его было немного и от людей не слишком близких. Когда мы собирались, было ещё лето, все окна стояли открытыми, и запах травы, цветов и деревьев из аллеи перед домом врываются в комнаты, уже заставленные ящиками и отмеченные разорением. Двое работяг, проходя мимо окон и глядя на старый шкаф в прихожей, выкрашенный ярко-красной краской, потому что не было другой, с восхищением воскликнули: «Глянь-ка! Шкаф красного дерева!» Именно в этот момент я почувствовала, что кончается совершенно замечательный период нашей жизни в заснеженной Сибири, оказавшейся для нас невероятно тёплой и полной счастья.

Хотеть уехать было только началом. Рига была забита людьми со всех концов Советского Союза, потому что

шёл 1979 год, один из самых «урожайных» лет эмиграции, и из Прибалтики, бог знает почему, желающих выпускали большими партиями и в невероятно короткие сроки, будто выстреливали. Этот поток был чрезвычайно многообразным. В нём были люди, уезжающие по самым разным причинам — от откровенно политических до сугубо конъюнктурных, меркантильных, так называемых «колбасных», но их всех объединяло одно желание — покинуть Страну Советов. При этом в головах у людей представления о жизни за границей и об их собственном месте в ней были самыми фантастическими. Конечно, эти идеи были результатом нашей дикости, и строились они на нелепых и искажённых сведениях о западной жизни, какие только могли возникать у запертых десятками лет за железным занавесом. Например, заправила «чёрного рынка», «артельщики и гешефтники» разного рода искренне считали, что можно запросто перенести их ловкость в подпольном советском «делячестве» в капиталистический мир с его экономическими законами рынка, и они уж покажут «там», как надо делать деньги. Не лучше были и другие, беда которых тоже заключалась в том, что они ехали с мыслью учить, а не учиться.

Зачастую люди, вооружённые до зубов регалиями, преувеличивали свои возможности и представляли себе, как они будут утирать нос своим коллегам своим несомненным преимуществом. Многих постигало большое разочарование, когда их встречали с далеко не всегда распространёнными объятиями. Были и такие, кто, желая придать себе больше весу, представляли себя как активных диссидентов, вопреки правде и только потому, что выписывали польские газеты или журналы. Самыми нелепыми и туманными были предположения гуманитариев, а самыми трезвыми оказывались технари и программисты. Я представляю себе, как посмеётся мой читатель, если я признаюсь, что думала возможным для себя работать в рекламе или «интериор дизайне», не имея об этом ни малейшего понятия и, к тому же, не зная языка. Это было настолько нелепо и смешно, что даже не стыдно сейчас об этом рассказать. О том, насколько наши представления о мире,

куда мы собирались, отличались от реальности, мне предстоит ещё много говорить. Но это всё было потом, а пока нам, как и им, приедем из разных городов, надо было влиться в этот поток, что было совсем не просто — у нас ведь тоже давно не было рижской прописки, утерянной при переезде в Сибирь.

Сначала мы были просто в отчаянии, не видя выхода, но советские люди оказались весьма сообразительными и умели использовать любую ситуацию. Подпольный бизнес и тут нашёл себе применение. Этот первый этап нашего «исхода» оказался полным приключений, переживаний и невероятных свершений. Для начала на горизонте появился мрачного вида неулыбающийся пожилой латыш по фамилии Янсон. Его к нам привёл юркий маклер «на все руки», который в это время особенно процветал. Янсон, неказистый с виду мужичок в заношенном пальтишке, смотрел на собеседника холодными почти бесцветными глазами из-под козырька полублатной кепочки, был немногословен, а когда говорил, то был сух и краток, но при этом весь его подобранный облик внушал абсолютное доверие. В своих делах он отказывался от каких-либо закреплённых на бумаге сделок. «Если вы захотите меня обмануть, то никакая бумажка вас не остановит, а если вы честный человек, то и бумажка не нужна», — говорил Янсон. Он был образцом того ушедшего времени, о котором так любил вспоминать мой папа, когда договорённости держались только на взаимном честном слове участников, и за всё время знакомства с ним ни мы, ни другие, имевшие с ним дело, ни разу не имели возможности хоть как-то усомниться в его порядочности. Крепкий хозяйственный мужик, имевший несколько домов, он понял, что отъезд евреев — это его шанс ещё больше разбогатеть. Он устроил из этих домов нечто вроде перевалочного пункта — прописывал приезжавших отовсюду, они в короткий срок получали разрешение, уезжали, и он прописывал следующих.

Нам же надо было как-то попасть в этот калейдоскоп, но как — вот в чём был вопрос. Дело было даже не в день-

гах, а в том, что всё приличное в домах Янсона было забито до отказа, свободных мест не было, и казалось, что мы в тупике. Но он не торопился с окончательным решением нам отказать, что-то его всё-таки останавливало. Поговорив с нами несколько раз и присмотревшись к Алику, он, как бы невзначай и неуверенно, добавил, что у него остался необжитый подвал в одном из домов. В этом подвале не было ни туалета, ни ванной, только вода из-под крана на кухне, но были комнаты, в которых, если вывести мышей, можно было жить. Мой Алик, услышав это, оживился и стал его долго и подробно расспрашивать, как же это помещение устроено, а в конце разговора предложил Янсону сделать ремонт и провести канализацию. Янсон поначалу отнёсся весьма скептически к такому варианту и сказал, что уже приглашал несколько раз инженеров-специалистов, но ни один за такое не брался. И всё же что-то его зацепило, и после довольно долгих переговоров и обсуждений Янсон, хоть и с сомнением, но всё же согласился попробовать, но своего скептицизма скрыть не мог. Правда, когда ремонт начался, он слушал Алика безоговорочно, выполнял все его заказы на материалы, никогда не спорил о расходах и не скупился, но при этом лёгкое выражение недоверия не сходило с его лица довольно долго. Каково же было его удивление, перемешанное с глубоким почтением, когда через месяц в подвале были все удобства, а мыши, узрев такое чудо, разбежались. Я, правда, как могла старалась им в этом помочь. То, что сделал мой муж, на самом деле было чудом. Работал он совсем один, с раннего утра и до ночи, приходил домой обессиленный и потемневший, но довольный. Подвал оказался не только пригодным для жилья, но даже весьма комфортным местом для нашего «перевалочного» этапа. Все удобства работали отлично, вода, горячая и холодная, журчала во всех кранах, но вот только поход в туалет имел свою особенность. Оказалось, что из-за какого-то сложного расположения канализационных труб сделать его можно было, только установив стульчак на возвышении, и подниматься к нему надо было на три ступеньки, как на королевский трон. Это придавало событию особую пи-

кантность, и было предметом нескончаемых шуток. Расплатился Янсон с нами за работу тем, что мы могли жить у него бесплатно в течение полугода. Мы-то по наивности своей считали, что к этому времени окажемся далеко от Янсона и его жилья, но получилось не так-то просто.

Мы жили в двух небольших комнатах, а в двух других вслед за нами появились и другие квартиранты. В первой оказалась молодая пара, муж Толик, худющий и вертлявый молодой человек, и его жена Инна, влюблённая в него до безумия пышная девица, чьи большие навывкате коровьи глаза смотрели на мужа с выражением беспредельной преданности и восхищения. Толик был маляром, а Инна работала на молочном комбинате и всё время притаскивала ворованные яйца, которые мы у неё охотно покупали. Из их комнаты, когда они были дома, всегда доносилось Иннино громкое хихиканье-повизгивание и шумная возня. Это были голоса их супружеских утех.

Во второй комнате появилась не менее колоритная пара — мать и сын, то ли из Львова, то ли из Черновцов. Мать была ловкая и болтливая неряшливая старуха, которая зимой и летом носила высокие сапоги и грязноватый платок на серо-рыжих запутанных волосах, а её маленькие хитрые глазки сверлили собеседника, как острые шпильки. От её готовки до нас доходил довольно приятный запах, но то, что она пользовалась на кухне той же миской, в которой и стирала, мешало нам наслаждаться её угощениями. От неё просто веяло нечистоплотностью и неискренностью. Сын скрывался от каких-то многочисленных жён и поэтому всегда подходил к двери с опаской. Работал он на вино-водочном заводе, откуда воровал бутылки со сладким сиропом, но выносил их оттуда пустыми, предварительно вылив содержимое на помойку. Бутылки он сдавал и своим методом воровства необыкновенно гордился.

Поначалу показалось, что у Алика не будет проблем с работой. Его действительно очень даже охотно взяли на хорошую инженерную должность, им был очень нужен специалист по металлу, и это несмотря на то, что он сра-

зу сказал будущему начальнику, что собирается уезжать. Настроение среди латышей в те годы было настолько антисоветским, что они даже злорадно поддерживали уезжающих евреев. Но уже через несколько недель о планах Алика стало известно начальнику отдела кадров, который через непосредственного босса предложил Алику уход по собственному желанию. Тут-то началось характерное для того времени «соревнование кто кого», игра, которую мы себе позволяли, и Алик стал говорить, что делать этого не станет, пусть увольняют, а он подаст на них в советский справедливый суд. Но противник тоже оказался не промах, и ответом было то, что суд он, вероятнее всего, и выиграет, но, как объяснил ему тогда начальник, порядочный человек, что если он и в этом случае не уйдёт сам, то на него повесят «секретность», закрыв двери к отъезду, а вот этого-то нам совсем было не нужно.

И тут оказалось очень кстати, что Толик был маляром. Он искал напарника, и Алик стал с ним вместе делать ремонты для очень своеобразных клиентов. Одним из их первых заказчиков стал богатый цыган, один из тех, кто к этому времени покупал захудалые хибары в одном и том же районе, у кинотеатра Тейка, перестраивал их в большие комфортабельные дома и очень своеобразно их украшал. Мы довольно долго и неплохо существовали на заработки с цыганских строений, сменивших кибитки табора. По вечерам красочные, полные ярких, порою даже экзотических впечатлений рассказы о жизни этих необычных для нас людей были предметом наших развлечений и самых горячих обсуждений.

Эти цыгане сильно отличались от тех, кого мы привыкли видеть в районах базаров и вокзалов. Вместо шумных толп взрослых и детей, навязчивых и нахальных, они были вполне современными людьми, любящими и ценящими комфорт и удобство. Этим своим всё ещё бродячим сородичей они называли «грязными» цыганами в отличие от «белых», к кому они относили себя. С прежним бытом их связывала неужённая тяга ко всему яркому и блестящему в одежде и убранстве, но пестрота эта была какая-то весе-

лая, бесшабашная и радующая. Выбирая цвет краски для комнат, они много раз меняли мнение, выбирая самые яркие, порой даже несовместимые тона, им всё время хотелось чего-то необычного, и хоть на перекраску уходило много дополнительного времени и было много суеты, всё окупалось честной расплатой за работу и наслаждением, которые наши мастера получали от необычности происходящего, потому что, несмотря на происшедшие перемены и налёт современности, для большинства из них всё ещё оставался неизблемым цыганский повседневный уклад, и во многих вопросах внутренней жизни они жили по своим вековым законам, не признавая формальных кодексов и указов. Так, например, свадьба вовсе не предполагала похода в ЗАГС. Было достаточно решения старейшин, чтобы брак считался законным. На мужчину налагались серьёзные обязательства, и если он из семьи уходил, то это ему весьма дорого обходилось. Таборная власть была на стороне интересов женщин и детей со всей строгостью. Женщине не прощалась только измена. Тут уж наказание для неё было суровым. Много разных историй слышали мы от наших «маляров», и после работы у цыган наши мужчины приходили домой усталыми, но весёлыми и довольными.

Спускаться в наш подвал надо было по трём ступенькам, и каждый, появившийся на пороге, оказывался, как в раме, в дверном проёме на фоне деревьев во дворе. В годы «отказа», когда наши дети были уже в далёком Детройте, да и подвал остался в прошлом, я часто во сне видела там входящими фигурки Софы и маленькой Маринки. Подвал оказался местом, куда охотно приходили не только наши друзья, но и Полины, молодые и очень оптимистично настроенные мальчики и девочки, большинство которых в конце концов тоже оказалось в эмиграции. Было там выпито много вина, и всего-чего переговорено. Наш подвал был какое-то время своеобразным клубом, местом, где без конца велись разговоры и споры, где все были откровенны и открыты, где мы обменивались «самиздатом» и обсуждали прочитанное, с особым интересом хватаясь за тоненькие листки папиросной бумаги с текстами романов Сол-

женицына, и передавали из рук в руки роман Уриса «Эксодус». Здесь же вслух читались письма от уже уехавших и из рук в руки передавались фотографии. Люди, собравшиеся уезжать, были уже в каком-то ином душевном состоянии, чем в «прошлой» жизни. Это только казалось, что ломать легко и просто. Советскому человеку и представить себе было трудно, что можно вот так взять и уехать из Советского Союза в другую страну, и не по туристической путёвке, а навсегда. Уехать! Не жить больше при советской власти! С этими мыслями и возможностями надо было приучать себя сжиться. Наше настроение в те дни было какой-то смесью эйфории и затуманенной реальности, и это состояние сильно отличалось от того, как человек живёт в своей повседневности. Мы как будто и жили обычной жизнью, участвовали в ней, но в то же время она как бы виделась нам со стороны, как бы проплывали над ней в потоке событий и бесконечных разговоров.

Подаче документов предшествовал «душераздирающий момент расставания с родной партией». Я уже писала раньше о том, как и при каких обстоятельствах я в неё вступила, а теперь я просто хочу об этом напомнить в нескольких словах. Живя в Сибири и преподавая в институте, я умудрилась каким-то образом даже защитить диссертацию в Ленинградском университете, оставаясь беспартийной, но перед очередным конкурсом на должность, который проходил каждые пять лет, пришлось в конце концов всё же сдать и мне. Я была единственным и последним беспартийным преподавателем на трёх идеологических кафедрах в нашем институте. Теперь начальством вопрос был поставлен прямо и не оставлял выбора — без партийности конкурс не пройти. За меня взялись не на шутку. Как я уже писала раньше, к этому времени намного улучшился вопрос с кадрами в регионе, в них не было уже такого недостатка, а идеологические гайки закручивались всё сильнее. В силу многих житейских сложностей, связанных с жизнью моих близких, которые от нас сильно зависели, я в тот момент ещё никак не могла рисковать и потерять работу, да и не буду кри-

вить душой и скажу честно, что потерять всё, к чему так долго шла, было для меня тогда просто невыносимо. Пришлось поступиться и принципами, и взглядами, и в партию вступить, а вот теперь наступил момент, когда надо было как-то из неё выходить, и сделать это в тогдашних условиях Новокузнецка было совершенно невозможно. Те несколько смельчаков, кто до нас пытались уехать из Кузбасса, оказывались настоящими париями, и настоящему остракизму подвергались не только они, но и оставшиеся родственники. Так на моих глазах «растерзали» безупречную репутацию нашего заведующего кафедрой иностранных языков.

Оставалась Рига, где к этому времени уже был бум уезжающих, 1979 год, и такие мелочи, как чей-то выход из партии, стали чуть ли не повседневностью. Если вступление в «ряды» было большим моральным компромиссом, пережить который было очень болезненно, то вот выход из партии был тяжёлым моментом отнюдь не морально, а чисто физически и технически. Из партии нельзя было выйти, не став прежде где-то на учёт в Риге, как было положено по уставу. Теперь, как человек неработающий, я отправилась в домоуправление, к которому относился наш «подвал», «исполнять свой партийный долг». Узнав, зачем я тут, маленький безликий и с виду добродушный управдом, он же секретарь парторганизации, сразу насторожился и сильно занервничал. Обычный советский гражданин, последнее время затравленный и загнанный такими, как я, в угол, в ненавистную ситуацию отъезда евреев, он долго смотрел на меня, ничего не говоря и терпеливо выслушивая мои лживые слова и циничные заявления о том, что я не могу нарушать устав и не платить членские взносы, а я при этом просто чувствовала, как воздух в небольшой комнате тяжелеет от моей наглости. Его попытки избавиться от меня, которые он в конце концов предпринял, запутали его ещё больше, и мне совершенно искренне было его жаль. Эта сцена завершилась тем, что как только он, сдавшись, наконец с тяжёлым вздохом поставил последнюю печать в моём партбилете, я тут же достала заявление с просьбой меня из партии ис-

ключить. Надо сказать, что я чувствовала себя очень плохо в этот момент, это был удар ниже пояса, а такие удары не очень-то приятно наносить.

Партийное собрание, на котором должно было проходить моё официальное исключение, было по-настоящему драматическим событием. Тут уж партийный секретарь взял полный реванш, и плохо пришлось мне. Серый дождливый день и запущенное, плохо освещённое помещение на рабочей окраине, в котором на это судилище собрались малоимущие пенсионеры бедного рабочего района и домохозяйки, люди, жившие в тесных и давно не видевших ремонта квартирах, часто без удобств, стоящие часами в длинных очередях в близлежащих магазинах с плохим снабжением, как нельзя лучше соответствовало по духу самому мероприятию. Вопреки ожиданиям, народу набилось много, так как повестка дня была заранее оглашена и звучала дразняще. Сидя за столом рядом с секретарём, я видела перед собой в зале бедно одетых людей, на усталых и угрюмых лицах которых было выражение злорадного удовольствия от предстоящего своеобразного развлечения. Они с любопытством и неприязнью разглядывали меня и, нисколько не стесняясь, обменивались впечатлениями. И всё же обстановка была довольно спокойной, пока секретарь зачитывал мою биографию, но в тот момент, когда он назвал мою зарплату кандидата наук и назвал сумму членских взносов, которую я платила, поднялась настоящая буря. Уже никто никого не слушал, люди повскакивали со своих мест и стали окружать стол, за которым мы сидели. При этом они не только выкрикивали угрозы и антисемитские оскорбления, но и тыкали в мою сторону острыми концами зонтов, всё время приближаясь. Страсти накалились до такой степени, что секретарь, очень бледный, встал впереди меня, увещевая толпу, а мой муж, стоявший за стеклянной дверью в коридоре, только и ждал момента, чтобы вмешаться. Всё как-то обошлось, но расставание с партией осталось в моей памяти как нечто, о чём вспоминать не хочется, как, впрочем, и о вступлении в неё.



**Муся Гланц** (Musya Glants) — филолог и историк искусства, родилась в Риге, где окончила филологический факультет Латвийского университета, а затем искусствоведческий факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Ленинград); получила степень кандидата философских наук (эстетика) в Ленинградском Государственном университете. Жила в Сибири в г. Новокузнецке, где была старшим научным сотрудником Художественного музея, затем доцентом Сибирского металлургического института.

В 1982 г. эмигрировала в США, живёт в Бостоне. С 80-х годов научный сотрудник Davis Center for Russian and Eurasian Studies при Гарвардском университете. Преподавала историю русского и еврейского искусства XIX–XX столетий в Гарвардском и Тафтском университетах и читала лекции в различных аудиториях. Основная тема её исследований — творчество еврейских художников в России.

М. Гланц — автор монографии о русско-еврейском скульпторе Марке Антокольском *Where is My Home? The Art and Life of the Russian-Jewish sculptor Mark Antokolsky, 1843–1902*, Lexington Books (INC, Rowman & Littlefield Publishers, 2010) — «Где же мой дом? Жизнь и творчество скульптора Марка Антокольского» (на рус. яз., Казахстан, Алматы, 2021). Её перу также принадлежат *As Life Flows On* (на англ. яз., журнал Experiment, № 24, 2018), отрывки на русском языке были опубликованы в журнале «Рижский альманах» (№ 9 (14), Рига, 2019); книга воспоминаний «Лоскутное одеяло, сшитое памятью» (Бостон, M-Graphics, 2021). Ею были изданы (в соавторстве) книги *Food in Russian History and Culture* (with J. Toomre, Indiana Univ. Press, 1997); *Jewish Life After the USSR* (with Z. Gitelman, M. Goldman, Indiana Univ. Press, 2003).

М. Гланц — консультант трёхчасовой телесерии *The Hermitage: A Russian Odyssey* для Public TV Network (Emmy Award nominee, 1995), автор более 25 научных статей по русскому и еврейскому искусству XIX–XX веков, опубликованных на английском и русском языках.



ISBN 978-1-960533-75-3



9 781960 533753